

## «Русская мысль»

«Вон из Москвы! Сюда я больше не езжу. Бегу, не оглянусь, пуцусь искать по свету, где для рассудка есть и чувства уголок...»

(Из черновой редакции «Горя от ума»)

### Александр Гершкович Бегство Грибоедова

Когда-то, на заре туманной юности, я, можно сказать, уже встречался с Грибоедовым в одном большом московском доме.

Как все помнят, Грибоедов бежал из опустыленной Москвы в 1818 году, сентября 10 числа, спасаясь от великосветской четвертой дуэли — *partie saignée*. Завадовский — Шереметев — Якубович — Грибоедов была не вполне удачной. Первый поединок, в котором Грибоедов выступал в роли секунданта Завадовского, окончился смертью бедного Шереметева. Грибоедову — дабы позабылось дело — пришлось почти год оттягивать принятие дуэльного вызова Якубовича, которого тем временем сослали на Кавказ; это дало свету основание обвинить Грибоедова в трусости.

По тем временам — не в пример нынешним — сие было ужасным оскорблением для русского человека, особенно благородного, и Грибоедов возненавидел город, который раньше так любил. Тут подвернулась возможность поехать с дипломатической миссией в Персию, и он бежал из Москвы, напоследок с шумом хлопнув дверью Благородного собрания. (В Тифлисе он настиг своего обидчика и 23 октября уже дрался с ним, ранив Якубовича в голову.)

Вот через эту самую дверь Благородного собрания бежал и я, разминувшись с Грибоедовым всего лишь на 120 лет. Теперь уже точно не помню, хлопнул ли я тогда этой дверью или нет. Помню только, что дверь была очень тяжелая, дубовая и высокая.

Колонный зал Дома Союзов в Москве был построен замечательным

русским зодчим М. Ф. Казаковым в 1784-90 гг. Пожар Москвы пощадил его. Вообще, как заметил про Москву Скалозуб, «пожар способствовал ей много к украшению». (Между нами говоря, Скалозуб мне лично симпатичен: после Чацкого он единственный человек в пьесе, кто говорит, что думает, — с солдатской прямоотой.)

Итак, в Колонном зале... Свет равномерно льется с обеих сторон высокой галереи, коринфская колоннада удивляет своей мраморной белизной, гигантские хрустальные люстры сверкают, огромные настенные зеркала отражают это сверкание. Зал может вместить более полутора тысяч человек. Весь девятнадцатый век он честно служил Благородному собранию для московского дворянства, к которому принадлежал и меланхолический гусар в очках, позднее — сочинитель пьес и дипломат Грибоедов. Вот в этом великолепно-следуемый молвой, и который ныне, как свидетельствует советская энциклопедия «Москва», стал «местом последнего прощания с умершими выдающимися деятелями», я читал монолог Чацкого на Всероссийском смотре художественной самодеятельности то ли в 1940-м, то ли в 1939-м.

Читал — и позорно провалился.

В тот достопамятный вечер меня выпустили, вернее, вытолкнули на подмостки сверкающего всеми огнями зала в черном бархатном пиджаке с короткими рукавами и с бантом. Взглянув в тысячелик перепол-

ненный зал с коринфской колоннадой... я обмер. В глазах у меня потемнело, и, ничего не различая перед собой, я вполне искренне начал: «Не образумлюсь... виноват, / И слушаю, не понимаю, / Как будто все еще мне объясняют хотят, / Растеряя мысли... чего-то ожидаю. /» По ремарке автора «с жаром» — я крикнул изо всех сил, срывая голос: «Слепец!..» Закашлялся и продолжал уже хрипло.

Доконало меня проклятое слово «тесть» в середине монолога. Я предполагал, что оно может меня подвести и долго готовился к выступлению под руководством артиста МХАТа, который руководил нашим школьным драмкружком в Кунцево. Но именно эти старания меня, видимо, и подвели. В Колонном зале, более того — в Благородном собрании, при всем честном народе я брякнул вместо «тестя» смешное «тэсть». В зале возникло легкое движение, и я почувствовал, что публика стала проявлять ко мне интерес. Видимо, я понял это оживление превратно, потому что через несколько строк я снова поддал в зал жару, заявив от имени Чацкого, что теперь, мол, «не худо б было сряду... излить всю ж е л ч ь и всю досаду». Вместо простого русского слова «желчь», я, будучи последователем, произнес, конечно, «жёлчь». Публика — в основном, из школьных учителей, пришла в полный восторг.

За кулисами меня успокаивали, говорили, что даже самому Цареву — знаменитому тогда исполнителю

роли Чацкого у Мейерхольда, а затем — в Малом театре, читать этот монолог в Колонном зале не рекомендуется — не та атмосфера, да и акустика не та... Больше всего меня огорчало, однако, что свидетелем моего позора была другая участница смотра самодеятельности — Наташа М., в которую я влюбился с первого взгляда — она с успехом исполняла в украинском национальном костюме голак и была очаровательна. (По иронии судьбы, она меня разыскала 40 лет спустя, когда я уже был «в подаче», мы встретились в том же Колонном зале, и я узнал, что она всю жизнь проработала здесь билетером, была вполне довольна своей судьбой, гордилась тем, что приставлена к дверям правительственного подъезда — встречать и провожать нынешних «благородных».) Но в тот злосчастный вечер я никого не слушал и бежал без оглядки через ту самую дубовую дверь вон из Москвы, в мое родное и тихое Кунцево.

Конечно, я тогда еще не знал, что Грибоедову в свое время приходилось еще тяжелее — он бежал от Москвы не за 12 километров, а за границу и, можно сказать, навсегда. С тех пор он заезжал в Москву лишь два-три раза проездом, его жизнь превратилась в сплошное скитание. О том, как и почему он бежал и из-за чего избегал с тех пор Москвы, хотя любил, знал и ненавидел ее, я понял только тогда, когда сам очутился в положении изгнанника.

В Америке я — делать нечего! — стал ходить по библиотекам, как делал это, впрочем, и в Москве, но... Там я ходил в них, чтобы знать то, что полагается знать советскому гуманитария. Здесь — для того, чтобы узнать то, чему недоучился там и что от нас, как сейчас вижу, скрывали сознательно и целеустремленно, дабы не нарушить наш душевный покой.

Судьба наследия Грибоедова представляет в этом смысле исклю-

чительный интерес. История его бегства из России и трагическая участь поэта и человека, всю жизнь зависевшего от внешних обстоятельств, полна современных аллюзий. Каждый поворот его судьбы живо напоминает о положении истинного таланта в обществе, зараженном ложью и лицемерием. Об этом вовсе не обязательно и даже опасно вспоминать сегодня на его родине, как неприлично говорить о веревке в доме повешенного.

Спросим самих себя, что мы знаем о Грибоедове по советским учебникам русской литературы? Каким он предстает в воображении среднего советского человека, пусть даже гуманитария? Автор бессмертного «Горя от ума» — первой русской «реалистической комедии нравов» (!), как пишут в учебниках, друг декабристов и противник царя — этого достаточно, чтобы объявить его хорошим, прогрессивным, вполне подходящим для советского юношества писателем. И взять на собственное вооружение.

Но они ничего не пишут о том, что Грибоедов как личность был прототипом всех недовольных порядками в России, что он был одним из первых инуюмыслящих, истинным патриотом, активно желавшим ее исправления. Ради этой цели он поставил свой незаурядный талант на службу порочному государству и — ошибаясь, в конце жизни горько разочаровался. Но это известно лишь узкому кругу специалистов, к тому же вынужденных про это молчать.

Пушкин, встретив во время путешествия в Арзрум в 1829 году арбу с телом убитого Грибоедова, писал: «Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго он был опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был непризнан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторо-е время в подозрении».

Кем же был этот необыкновенный человек на самом деле?

Индивидуалист по натуре, возвышенная поэтическая душа, Грибоедов был соткан из противоречий. Более всего он ненавидел рабство во всех его проявлениях:

«По духу времени и вкусу  
Он ненавидел слово «раб»,  
За то попался в главный штаб  
И был притянут к Иисусу...»\*

писал он о себе, находясь под арестом по делу декабристов. Но в те же самые дни он написал жалостливо-униженное письмо Николаю I, в противоречии с рыцарской этикой декабристов: «Всемилюбийший государь!.. Я не знаю за собою никакой вины... Ваше императорское величество сами питаете благовоеннейшее чувство к вашей августейшей родительнице. Благоволите даровать мне свободу, которой лишился я моим поведением никогда не заслуживал... Вашего императорского величества верноподданный Александр Грибоедов».

Более, чем другие поэты его масштаба, он был рабом своего времени. Освобожденный из-под ареста без всяких наказаний — едва ли не один из всех подследственных — он рьяно бросился служить престолу, делал карьеру, вопреки своим внутренним убеждениям, вопреки желанию быть «независимым от людей». Как дипломат, он талантливо защищал русские интересы на Востоке, но заплатил за это дорогой ценой собственной свободы. В стихотворении «Прости, отечество!» он признавался:

«Премудрость! вот урок ее:  
Чужих законов несть ярому,  
Свободу сохранить в могилу,  
И веру в собственную силу,  
В отвагу, дружбу, честь, любовь!..»

А. В. сошел с кафедры, старательно облив себя грязью, представитель райкома (!) вернул его обратно вопросом: «А как товарищ Шацкес объясняет, что он так долго пропагандировал эту вредную музыку?» И товарищ Шацкес снова взошел на свою Голгофу и голосом обреченного сообщил, что он может объяснить это только «своей политической несостоятельностью» (эти слова и следующую цитату из выступления Гольденвейзера привожу буквально — такое не забывается — Д. П.).

Народ безмолствовал, страх как бы повис в воздухе...

Во время войны М. С. Немцова-Луниц приняла у себя на кафедре безработного музыканта, внешне напоминающего толстовского Каренина, только помоложе. Теперь этот бездарный сухарь, вскоре дослужившийся до ученого секретаря Консерватории, к нашему стыду, буквально топил Марию Соломоновну, обвиняя ее в том, что на кафедре играет слишком много западной музыки и ущерб русской и советской (все то же...), и в других несуществующих грехах. Пораженная старуха, связанная с консерваторией чуть ли не полвека, не ожидавшая подобной подлости (и от кого?!), сидела бледная, не находя слов в ответ.

Тут я с гордостью вспоминаю, как повел себя вслед за тем мой учитель Л. М. Левинсон и я, хорошо знавшие его, заметив, какое гнетущее впечатление произвел на него весь ход собрания. Поднявшись на сцену, он напичканным голосом сказал, что не собирался комментировать сегодняшнее выступление, но вынужден сделать исключение для предыдущего оратора, так как «вместо обещанной нам большевистской критики, мы в течение 15-ти минут слушали низкую сплетню!» — тут голос его почти сорвался, что снова живо напоминало старого князя Болконского. Из глаз Марии Соломоновны фонтанчиками брызнули слезы благодарности, а в 47-й аудитория вспыхнула стихийная овация — люди приветствовали хотя бы краткую победу самоуважения и славы духа над страхом и непотребством.

История эта имела свое продолжение, о чем мне рассказал впоследствии Г. Р. Гинзбург. А. Б. спросил его и Э. Г. Гельдеса сопроводить его к высокому начальству в Комитет по делам искусства и попытаться отстоять назначенных в жертвы трех профессоров. С присутствием ему юмором Г. Р. в лицах показывал, как они с Гельдесом стояли за креслом А. Б., который доказывал чиновнику, что, каковы бы ни были причины, нельзя увольнять из Консерватории таких заслуженных музыкантов. В ответ он получил свиходительное разъяснение, тон которого перешел границы дозволенного в разговоре с нашим Стариком. Г. Р. подтолкнул Гельдеса, как бы говоря: «сейчас будет...» И, действительно, А. Б. взорвался, вскочил с кресла и выложил чиновнику хаму, что его разъяснения неубедительны, а о его манерах он, А. Б., «будет говорить в другом месте». И тут руководящий деятель струхнул. Он подбежал к А. Б., пытаясь объяснить, что его «не так поняли» или что-то в этом роде. Старик лишь отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и быстро направился к дверям, буквально потащив за собой обоих «молодых». На этом визит был закончен. И не только визит — постыдный приказ так и не был подписан, и трое обреченных были спасены.

Продолжение. Начало см. «Р. М.» № 3481. Окончание следует.

Дмитрий Паперно — известный пианист и преподаватель, ученик А. Гольденвейзера, лауреат двух международных конкурсов, ныне профессор университета в Чикаго. В книге, только что опубликованной издательством «Эриштаж» (Анна-Арбор, Мичиган, США) под заглавием «Записки пианиста», он рассказывает о своей творческой судьбе и о музыкальной жизни в СССР, о Московской консерватории, с которой он был связан много лет.



Д. Паперно на уроке в классе А. Б. Гольденвейзера перед Шопеновским конкурсом 1955 года.

До какой степени доходило иногда его волнение на эстраде, говорит запись в дневнике А. Б. от 2 февраля 1932 года, когда он играл партию сольного фортепиано в «Прометее» Скрибина в Большом театре с дирижером Н. С. Головановым: «В антракте мне и в голову не приходило волноваться. Вышел на сцену — ничего. Сел и вдруг почувствовал ужас большого пространства у себя справа. Чувствую, будто я лечу куда-то, кружится голова, как на краю пропасти. Момент был такой, что я был уверен, что или упаду, или придется прервать игру... Нечеловеческим усилием взял себя в руки. Это не «напряжение», это какой-то мучительный кошмар. Странно, вчера совсем этого не было... (концерт был повторным, на той же сцене и с теми же исполнителями — вот и ищите после этого логику эстрадного волнения и рецепт, как с ним бороться...).

Объяснение в Гольденвейзер — был особенно хорош в «бисах», особенно удачные от волнения, игравшие просто и мудро, высывая в воображении легендарные для нас образы их старших современников: Чайковского, Антона Рубинштейна и друзей: Рахманинова и Скрибина.

В 1949-50 учебном году, в разгар борьбы против «космополитизма», состоялось открытое партсоборание в на фортепианном факультете, которое возглавлял я. На этот раз под ударом оказались трое профессоров, чьи заслуги в известности говорили сами за себя: заведующая концертной студией профессор М. С. Немцова-Луниц, видный ученый Метнера А. В. Шацкес — блестящий пианист, так как на него не напали на собрания открыто — блестящий пианист Я. В. Флвер. Конечно, сценарий собрания был разработан заранее, и я не считая возможным упомянуть имя тогдашнего партсекретаря факультета, известного музыканта, который задал собранию нужные мне (он умер в 1976 году, сам став жертвой несправедливой системы политической ответственности педагогов за своего студента, но тем или иным образом становясь невосприимчивым...).

Послушно саморазоблачился А. В. Шацкес, которого заставляла публично высказываться в том, что он не только сам много играл произведения своего великого учителя Метнера, но и задавал их своим студентам... Когда несчастный

\* А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. 6, л. 1978, стр. 451.  
\*\* Здесь и далее цит. по книге: А. С. Грибоедов. Сочинения, л. 1940.



# Бегство Грибоедова

См. стр. 9

Он презирал себя за эту «премудрость» русского служилого человека, предчувствовал, что это плохо кончится, но продолжал «служить» тому, что ненавидел, и ненавидел то, чему служил. Дух противоречия перед людьми и перед самим собою оказался в нем сильнее духа быть свободным. Так родился в русской литературе образ Чацкого с его «миллионом терзаний» — образ первого романтического героя русской драмы, в котором автор — в порядке сатиры — выразил свою вторую, внутреннюю, потаенную жизнь. То, кем он мог бы стать, если бы не стал тем, кем был.

Что такое Грибоедов, как явление русской жизни?

Потомок старинного дворянского рода, богач и один из образованнейших людей России и Европы начала нового времени, воспитанник геттингенских профессоров И. Т. Буле, Б. Иона и Шлецера-младшего, он свободно владел многими европейскими языками, читал и переводил с подлинников Шекспира, Гете и Шиллера, знал латынь и греческий, персидский, арабский и турецкий, легко окончил одновременно три факультета — словесный, юридический и физико-математический. Он был возведен по окончании Московского университета в 1810 году в степень доктора права, был участником войны 1812 года, членом масонских лож. Грибоедов — превосходный пианист и сочинитель сентиментальных романсов, друг декабристов Пестеля, Чаадаева и Кюхельбекера; и, вместе с тем — приятель жандармского доносчика Фаддея Булгарина, которому дальновидно поручил заботу об издании «Горя от ума»; наконец, он же — чиновник по дипломатической части при русской колониальной армии в Закавказье, признанный специалист по освоению покоренных территорий восточных народов, один из авторов выгодного России

Туркманчайского мирного договора с Персией, кавалер орденов Льва и Солнца 2-ой степени и Святой Анны с алмазными знаками, впоследствии назначенный специальным Высочайшим указом статским советником и Полномочным министром-послом Российской империи в Персии, где и был убит религиозными фанатиками-единоверцами нынешнего Хомейни в Тегеране при разгроме русского посольства 30 января 1829 года. Таков был наш Грибоедов, несостоявшийся вождь романтизма молодой России, ее первый скрытый инакомыслящий. Добровольно облачив себя в жесткий чиновничий мундир с благородным желанием быть полезным России, он похоронил свой великий талант и погиб тридцати четырех лет, разочарованный своим жизненным выбором.

В конце своего пути он исповедывал своему закадычному другу С. Бегичеву (письмо от 9 декабря 1826 г. из Тифлиса): «Буду ли я когда-нибудь независим от людей? Зависимость от семейства, другая от службы, третья от цели в жизни, которую себе назначил, и может статься, наперекор судьбы. Поэзия! Люблю ее без памяти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить?... Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов?... Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Холод до костей проникает, равнодушие к людям с дарованием...»

Об этом письме-исповеди Грибоедова не любят вспоминать советские учебники литературы. В последний раз оно было напечатано в 1940 году.

Чацкий-Грибоедов бежал не прямото из большого московского дома — он бежал от самого себя.

А. ГЕРШКОВИЧ